

## *Сталин-исторический романист* («Краткий курс» как соцреалистический текст)

Вся история человеческих отношений, учит марксизм, есть история борьбы за отчуждение и — с отчуждением. При капитализме предметом отчуждения является труд. Очевидно, что при социализме таким предметом является чистая власть.

Результатом такого отчуждения власти становится выведение личности за пределы политической реальности и реальных социальных отношений — в мир протезированных, «заменных» форм реальности, в мир своеобразных «симулякров» — форм образов, утративших реальность. Эти безреферентные формы приобретают в нашем случае ключевое значение — значение самой реальности. Референт — они сами. Отсюда — та роль, которую играет в сталинской культуре искусство соцреализма и различные формы политико-эстетического ритуала.

Задача этой культуры — поистине политико-эстетическая: создание новой реальности является необходимой составляющей замены отчужденного. Собственно, вся сталинская культура и занималась симуляцией искусства, политики и, конечно, истории. Массы получают свою историю (как и все остальные протезы) из рук власти — безмянную — от вождя. Статус исторических текстов в этом случае огромен. По сути, создание метасюжета (master-plot) для культуры — прямая задача вождя; ее решение по плечу только вождю. В этом смысле «Краткий курс» создал метасюжет для супержанров советского искусства — историко-революционного (а затем — панорамного) романа, пьесы, фильма; литературной, театральной и кино-ленинианы и сталинианы и т. д.

Основой абсолютной власти является предельное знание о мире. Таким предельным знанием, несомненно, является апокалипсис. Мы оказываемся в пространстве советской эсхатологии. Основная задача политико-эстетического проекта — приспособление конечного знания к повседневной жизни — «преобразование мнимостей эсхатологического знания в “целые числа” бытовых ориентаций»<sup>16</sup>.

В процессе этой перегонки эсхатологии в историю последняя должна быть переведена в новый режим, ибо «чтобы большевизм мог стать идеологической санкцией сталинского правления, а затем всех тоталитарных режимов в Европе и

Азии, его динамичные структуры должны были в пределах возможного быть заменены статичными»<sup>17</sup>. Эту «статику» мы будем называть в дальнейшем «логикой», создающей новую историческую модальность и — реальность.

«Но почему же, — задается вопросом Михал Гловинский в своем блестящем введении в предмет — эссе о «Кратком курсе», — книга, излагающая этот миф (в сущности, главный интеллектуальный памятник сталинизма, дополненный отдельно изданными биографиями обоих вождей), была названа “кратким курсом”?» Гловинский предполагает, что это должно было указывать на то, что это часть какого-то грандиозного труда, который должен был быть когда-то выполнен. Но заявляет, что не имеет «удовлетворительного ответа на этот вопрос»<sup>18</sup>. Мы уже говорили о природе «кратких нарративов». Здесь важно другое: что значит «курс» — это учебник или история? Сталин-вождь как учитель заменяет разного рода «черки» истории партии (каковых было к середине 1930-х годов очень много) единым «курсом». Но «курс» — это еще и русло, «генеральная линия», обращенная в прошлое. Какие-либо отклонения от нее невозможны. Потому-то в момент выхода книги, в 1938 году, история, начавшись (выход сталинского «священного писания»), тут же и закончилась — ее продолжения не последовало. К этому нам предстоит вернуться в конце этой статьи.

Сейчас обратим внимание на другой важный аспект проблемы: основным партийным документом оказывается не программа (взгляд вперед, как обычно), но... история (взгляд назад). Ханна Арендт высказала в своих «Истоках тоталитаризма» мысль о том, что, становясь общемассовыми, партии отказываются от программы. Можно было бы сказать, что они отказываются от «программного», перспективного видения. Им требуется в этом случае образ «масс» (не рабочего класса, на который делали ставку большевики, идя к власти, но всего общества, ставшего теперь «массой»). В этой смене оптики программа (перспектива) заменяется обратной перспективой — историей. В этом смысле «Краткий курс» истории партии есть по сути программа партии. Можно утверждать, что в 1930-е годы у партии не было никакой определенной программной цели, а формулируемые цели были сугубо политико-прагматическими, т.е. определялись условиями борьбы за власть и решением насущных проблем удержания, концентрации и легитимации своей власти. Будущее становится заложником «экспроприированного прошлого».

Чтобы понять природу этого дискурса, обратимся к типологии утопического сознания, разработанной Карлом Маннгеймом в его «Идеологии и утопии». Маннгейм выделял пять основных типов такого сознания: «бюрократический консерватизм», «консервативный историцизм», «либерально-демократическое буржуазное мышление», «социалистически-коммунистическую концепцию» и «фашизм». Единственным типом, последовательно работающим в нашем случае, является первый, «существующий в рамках законов, уже сформулированных». «Консервативный тип знания, — замечает Маннгейм, — генетически является видом знания, дающегося практическим контролем»<sup>19</sup>. Важнейшей особенностью исторической оптики, произрастающей из такого типа ментальности, является следующая: «Исторические преобразования, существующие в любое данное время, не могут быть искусственно сконструированными, но растут, как растение из семени»<sup>20</sup>.

Из маннгеймовских характеристик следует, по крайней мере, два принципиальных вывода: данному типу сознания свойственны «панисторицизм» (все должно «расти» и «вызревать») и представление о тотальной «просчитываемости» (логике) истории, связанной с «практическим контролем» над обществом. Ясно, что «Краткий курс» целостно реализует эту программу. Сталинская травматика и единственно доступный Сталину, усвоенный им в семинарии, тип «рассуждения» превращают «Краткий курс» в законченный образец «панлогизма».

Его первой отличительной особенностью является своеобразный тотальный

«номинализм» (именно те известные «положения» книги, которые подлежали заучиванию «по пунктам»), когда «прочитывание» каждого явления заменяется его «просчитыванием».

Нередко таким способом заменяется самое изложение. Скажем, многие работы Ленина «излагаются» по «положениям» — с пунктами и подпунктами. Перед читателем — обширные цитаты, иногда занимающие целые страницы, с перебивкой, типа: «Ленин писал:» — цитата; «И дальше:» — цитата; «И еще:» — цитата, «Или еще:» — цитата.

Подобный способ изложения распространяется не только на «готовые» тексты, но и на сами исторические события, которые (усиленные сталинским «плетением словес») также превращаются в некие... «тексты»:

1. Октябрьская революция имела перед собой такого политически малоопытного врага, как русская буржуазия...

2. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России...

3. Рабочий класс России имел такого серьезного союзника в революции, как крестьянская беднота...

4. Во главе рабочего класса стояла такая, испытанная в боях партия, как партия большевиков...

5. Октябрьская революция началась в такой момент, когда...»<sup>21</sup>.

Цепь из пяти «выводов» лишь внешне содержит некую информацию. Достаточно заглянуть «вовнутрь» этих «положений», чтобы убедиться, что в них — лишь стилевые «эллипсы», чистая тавтология. Например: «2. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс, закаленный в боях, прошедший в короткий срок две революции и завоевавший к кануну третьей революции авторитет вождя народа в борьбе за мир, за землю, за свободу, за социализм. Не будь такого, заслужившего доверие народа, вождя революции, как рабочий класс России, не было бы и союза рабочих и крестьян, а без такого союза не могла бы победить Октябрьская революция» (203).

Не ошибемся, если скажем, что «логика» в «Кратком курсе» последовательно заменяет историю. «Сердцем» «Краткого курса» является «философский фрагмент» «О диалектическом и историческом материализме», фактически самостоятельная работа, прерывающая историческое повествование, тот самый фрагмент, который и был назван в сталинской биографии «вершиной марксистско-ленинской философской мысли». Это — настоящая методология сталинского исторического мышления, в которой его террористическая логика проявляется во всей своей тотальности.

Прежде всего сообщается, что «диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии» (99). Обратим внимание: не философия, а «мировоззрение», т. е., попросту говоря, идеология. Она-то и определяет ход исторического повествования, превращая его в рассуждение. Например: «Рабовладельческий строй для современных условий есть бессмыслица, противоестественная глупость. Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося первобытно-общинного строя есть вполне понятное и закономерное явление» (104). Подобными оппозициями пронизана вся сталинская система мышления — или «глупость» (причем, «противоестественная», т. е. нечто нелогичное), или «закономерность». Ясно, что Сталин оперирует здесь не столько научными или историческими реалиями, сколько некими (художественно-образными) конструкциями, противопоставленными одна другой.

Между полюсами — тот же каскад «следующих» одно из другого «положений». Изложение идет буквально «вахлеб»: «... Дальше. Если мир находится в непрерывном движении и развитии, если..., то ясно, что... Значит, капиталистический строй можно заменить социалистическим строем, так же, как капиталистический

строй заменил в свое время феодальный строй. Значит, надо ориентироваться на те слои общества, которые... Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо смотреть вперед, а не назад. Дальше. Если переход медленных количественных изменений в быстрые и внезапные качественные изменения составляет закон развития, то ясно, что... Значит...» и т. д., и т. д. (105—106) Перед нами — бесконечная цепь «логем». Внутри их — все та же тавтология, оформленная однородными рядами, синонимичностью и антонимическими «оппозициями».

Таков механизм образования образов в сталинских нарративах. Казалось бы, в силу своей спекулятивной логичности он может работать без сбоев практически бесконечно. Однако тут включается еще один — уже собственно литературный принцип, своего рода «аварийная система питания». Мы говорим о литературности буквально, поскольку сам Сталин назвал его диалектикой «между духом и буквой» теории. Вся эта безупречная логическая цепь может быть разрушена одним художественным усилием — сменой отношений между «буквой и духом», ведь «марксистско-ленинская теория.., как наука, не стоит и не может стоять на одном месте, — она развивается и совершенствуется. Понятно, что в своем развитии она не может не обогащаться новым опытом, новыми знаниями, а отдельные ее положения и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми выводами и положениями... Овладеть марксистско-ленинской теорией вовсе не значит — заучить все ее формулы и выводы и цепляться за каждую букву этих формул и выводов. Чтобы овладеть марксистско-ленинской теорией, нужно, прежде всего, научиться различать между ее буквой и сущностью» (339).

Как же овладеть этим искусством «различения»? В качестве образца, ясное дело, приводится Ленин: «Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма и не решился заменить одно из старых положений марксизма, сформулированное Энгельсом, новым положением о республике Советов, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, марксистская теория потерпела бы серьезный урон. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата.

Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой марксизма, если бы у него не хватило теоретического мужества откинуть один из старых выводов марксизма, заменив его новым выводом о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках, пролетарская революция лишилась бы руководства, марксистская теория начала бы хиреть. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги пролетариата» (341).

Перед нами — настоящий гимн «духу». Обнаруживается страшная картина: партия в потемках, Советы дезорганизованы, нет Советской власти, революция без руководства, теория хиреет — и все оттого, что Ленин «спасовал перед буквой» (характерно, что сами эти «старые (почему не «устарелые»?) выводы марксизма» предусмотрительно не формулируются). В чем же тогда сила «духа»? Она — в «исторической логике». Эта нить Ариадны и ведет читателя в будущее. В «Кратком курсе», пишет Гловинский, рассказывается о «формировании некоего мирового порядка, в котором фактор прогресса, упорядоченности, идеологической правоты берет верх над силами зла и над хаосом, предшествовавшим зарождению и триумфу нового идеала. Это своего рода книга «Бытие» и одновременно — теогония, в которой место олимпийских богов занимают два партийных вождя; ее увенчанием становится полная победа нового порядка, равнозначная устранению всех тех и всего того, что мешало его воцарению»<sup>22</sup>. Чем обеспечена победа? Тем, что «логика истории» (самое воплощение объективности) работает на нас.

Естественно предположить, что результатом подобного чтения истории становится выстраивание самой истории в соответствии с логикой. Например: «Боль-

шевики хотели создать новую, *большевистскую* партию... Книга Ленина “Что делать?” была *идеологической* подготовкой такой партии. Книга Ленина “Шаг вперед, два шага назад” была *организационной* подготовкой такой партии. Книга Ленина “Две тактики социал-демократии в социалистической революции” была *политической* подготовкой такой партии. Наконец, книга Ленина “Материализм и эмпириокритицизм” была *теоретической* подготовкой такой партии» (135—136). Перед нами некая цепь хронологически последовательных событий. Но последовательность здесь — лишь продукт системности процесса, подтверждение его «логичности».

Вот откуда — сталинское пристрастие к «повторным» конструкциям, которые своей ритмичной монотонностью симулируют «последовательность» и «логичность» *уже случившегося*: «Революция победит лишь в том случае, если ее возглавит пролетариат, если пролетариат, как вождь революции, сумеет обеспечить союз с крестьянством, если либеральная буржуазия будет изолирована, если социал-демократия примет активное участие в деле организации народного восстания против царизма, если будет создано в результате победоносного восстания временное революционное правительство, способное выкорчевать корни контрреволюции и созвать всенародное Учредительное собрание, если социал-демократия не откажется при благоприятных условиях принять участие во временном революционном правительстве, чтобы довести до конца революцию» (62). Эти шесть «если» означают здесь вовсе не условие, а результат: все они уже состоялись. Но, сдвигая модальность, Сталин превращает историю (в данном случае речь идет о революции 1905 года) в логику, логику — в историю, прошлое — в программу. Эффект, как можно видеть, достигается сугубо стилистическим приемом.

Вот откуда — излюбленные сталинские усиливающие конструкции: «Отныне должны были появиться — и действительно появились потом — целые отряды, тысячи и десятки тысяч красных специалистов, овладевших техникой и способных руководить производством... Все это должно было облегчить — и действительно облегчило, — развертывание реконструкции народного хозяйства» (301); «Новая избирательная система должна была привести и действительно привела к усилению политической активности масс» (333). «Должны были появиться» — «и действительно появились», «должно было облегчить» — «и действительно облегчило», «должна была привести» — «и действительно привела»... Все это — не только стиль, но — философия истории: «действительно» происходит то, что и «должно было» произойти. Оно и произошло-то только потому, что так «должно было» быть. Действия как будто «написаны» в тайной книге Власти, читать которую дано только вождю.

Вот откуда — отмеченные уже эпитеты при упоминании любой работы классиков («*Классическую* критику тактики меньшевиков и *гениальное* обоснование большевистской тактики дал Ленин в своей *исторической* книге “Две тактики социал-демократии в демократической революции”» (62); «Вот *гениальная* формулировка существа исторического материализма, данная Марксом в 1859 году в *историческом* «предисловии» к его *знаменитой* книге “К критике политической экономии”» (126) — курсив везде наш. — *Е. Д.*) — эти работы заполняют некие логические звенья истории (потому они и «знамениты», и «гениальны», потому и стали они «историческими» и «классическими»). Этот образ исторической реальности как некоей логической реальности (то есть чистого мыслительного конструкта) является высшим достижением сталинского художественного мышления. Ясно, что в этом случае самая историческая реальность (прошлое) лишается какой бы то ни было самостоятельной ценности: ее можно как угодно монтировать, додумывать, даже выдумывать. Главное, чтобы она была состоятельной, так сказать, логически, то есть, образно.

Итак, история предстает перед нами радикально переработанной повествова-

телем. Этот образ автора, «данный нам в ощущение» сталинской исторической логикой, заставляет взглянуть на предмет, так сказать, с «персональной» точки зрения.

Эта «персональность», рассмотренная нами ранее (в ленинской и сталинской биографиях), реализуется в «Кратком курсе» куда более стилистически и жанрово изысканно, чем в традиционных жанрах «личного нарратива» (биография, автобиография). Выстраивание повествователем собственного образа в «Кратком курсе» осуществляется уже не столько *через образ Другого* (Ленин) или *через собственное «третье лицо»*, сколько *через образ имперсональный*, а именно — *через образ Партии*.

«Краткий курс» открывается такой презентацией предмета: партия родилась «на основе рабочего движения в дореволюционной России из марксистских кружков и групп, которые связались с рабочим движением и внесли в него социалистическое сознание» (3). Партия — это живой организм: ее появление на свет произошло в результате... оплодотворения. Такое последовательно *метонимическое* изображение партии пронизывает весь «Краткий курс». Идет ли речь об организации в целом, или о каких-то событиях в ее (в буквальном смысле слова) «жизни». Например, II съезд партии изображается просто как человек: «Съезд оказался не на высоте своего положения в области организационных вопросов, испытывал колебания, иногда давал даже перевес меньшевикам, и хотя он поправился под конец, все же не сумел не только разоблачить оппортунизм меньшевиков в организационных вопросах и изолировать их в партии, но даже поставить перед партией подобную задачу» (43).

Впрочем, наибольшая экспрессивность проявляется тогда, когда нарратор прерывает повествование обширными лирическими монологами, в которых легко прочтываются застарелые сталинские травмы. Настоящий «мастер» политического маневра, Сталин не раз отступал, лавировал, терпел вынужденные союзы и т. д. Вся эта политическая травматика вылилась в лирических отступлениях «Краткого курса». Но чаще всего сталинская лирика представляет собой обычную риторику, наполненную знакомыми тропами, «непримиримыми оппозициями», спорами о словах, софизмами, разговорными конструкциями, риторическими вопросами, страстными инвективами, когда речь заходит о том, что действительно задевало травмированную душу вождя. Эти «внутренние монологи», приобретающие иногда даже форму неких диалогов (с самим собой), несомненно, принадлежали самому Сталину. Тем же образом он говорил и в своих публичных выступлениях, где «диалоги» с залом превращались в один огромный риторический вопрос, как, например, на всеоюзном совещании стахановцев в Кремле, в ноябре 1935 года: «Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?» (324).

Перед нами — типичный катехизисный дискурс, являющийся «переводом реальности на профанирующий язык вопросов-ответов. Катехизисное мышление искажает действительность посредством имитации диалога. Хозяином ответов является сам инициатор речевых актов, а не реальный партнер по диалогу»<sup>23</sup>. Отсюда — запрограммированность результата «диалога». Ответы же заполняют пустоты тревоги, ожидания, сомнения. Отсюда — и знакомые семинаристские тропы («Большевики... вели непримиримую борьбу с оппортунистами, очищали пролетарскую партию от скверны оппортунизма» (137)), расширяющиеся иногда до широких («обобщающих») конструкций.

Обрушиваемый на голову читателя логический каскад, погребаящая всякую

надежду на возможный выход из плена языка лавина софизмов имеют ясную цель: поставить читателя в тупик. Эта безнадежная логика, своего рода магия «Краткого курса» потрясает своей агрессивностью. В читателе как в объекте агрессии превентивно усматривается (в лучшем случае) преступник, ищущий лазейки из плена «объективных закономерностей исторического процесса», (в худшем случае) бунтарь, психика которого может быть подавлена только сильным психотропным воздействием.

Процесс «объективации» логики и лежит в основе сталинского исторического мышления, превращающего фантазии и волю вождя в «объективные причины» и «исторические закономерности». Несомненно, что подобная трансформация реальности требует немалого художественного усилия. Одновременно, в этой слитности воли и «логики», фантазии и «исторического закона» («самого хода истории») и содержится истинная тайна этой книги-гимна целостности мира: «закономерность» превращает историю из хаоса в космос. Однако язык превращает этот космос в золотую клетку: из этой «целостности», из этой «гармонии» нельзя выйти. Сами синтаксические конструкции — это звенья цепи, намертво закрепляющие читателя в царстве гармонии. Поэтому эта книга стала скрижалями советской культуры, «вратами» в царство социализма. Ясно также, что преступниками являются те, кто хочет остановить «прогресс истории», хочет разрушить целостность, гармонию. Их действия не могут не быть противоестественными, преступными. Их действия не могут разворачиваться иначе, как в условиях заговора. Но заговор — это опять таки — «логика», сюжет, нарратив, детектив. Агентурное видение реальности превращает логику в историческое событие.

Следует также иметь в виду, что самый тип сталинского дискурса невозможен вне образа Другого как врага: «Самая консервативная форма утопии, представление о том, что идея воплощена и выражена в реальности, — писал Маннгейм, — может быть, в конечном счете, понятной только в свете ее борьбы с другими сосуществующими формами утопии»<sup>24</sup>. Заговор был, конечно, сталинской травмой, но следует видеть этот феномен и в более широкой перспективе: пришедшие к власти большевики были (буквально) вчерашними подпольщиками, конспираторами, нелегалами, заговорщиками, всю жизнь имевшими дело с репрессивной машиной государства. У советской власти заговор в крови. Агентурное мышление, принявшее в «Кратком курсе» (или в историко-революционных фильмах и книгах, героизирующих революционеров-подпольщиков) параноидальные формы, имеет одну цель — легитимацию (заговорщик, подпольщик отличается от остальных людей своей нелегитимностью). Достижение этой цели в высшей степени травматично: речь идет о том, что нелегальное меньшинство должно обосновать легитимность своей власти над легальным большинством, легитимировать прежде нелегальное. С этой же «исторической памятью» связано и болезненное пристрастие к репрессивным решениям проблемы легитимности: лучше всего, как уже говорилось, большевики были знакомы с репрессивной стороной государства.

Сталин, сконцентрировав в себе всю власть, принял на себя и всю травматику этой власти. Поэтому, когда мы говорим, что партия презентуется в «Кратком курсе» как человек, то имеем в виду вполне конкретного человека, говорящего о себе как о «партии». Особенно личностным становится этот разговор о партии, когда речь заходит о самой власти (т. е. о Сталине лично): «Так как успехи социализма в нашей стране означали победу политики партии и окончательный провал политики этих господ, то они, вместо того, чтобы признать очевидные факты и включиться в общее дело, стали мстить партии и народу за свои неудачи, за свой провал, стали пакостить и вредить делу рабочих и колхозников, взрывать шахты, поджигать заводы, вредить в колхозах и совхозах... А чтобы уберечь при этом свою жалкую группу от разоблачения и разгрома, они накупили на себя маску преданных партии людей, стали все больше и больше лебезить перед партией, славосло-

вить партию, пресмыкаться перед нею, продолжая на деле свою скрытую от глаз подрывную деятельность против рабочих и крестьян.

На XVII съезде выступили Бухарин, Рыков и Томский с покаянными речами, восхваляя партию, превознося до небес ее достижения. Но съезд почувствовал, что их речи носят печать неискренности и двурушничества... На XVII съезде выступили также троцкисты — Зиновьев и Каменев, бичуя себя сверх меры за свои ошибки и славословя партию — тоже сверх меры — за ее достижения. Но съезд не мог не видеть, что как тошнотворное самобичевание, так и слащаво-приторное восхваление партии представляют обратную сторону нечистой и беспокойной совести этих господ. Партия, однако, еще не знала, что, выступая на съезде со слащавыми речами, эти господа одновременно готовили убийство С. М. Кирова» (310). Мстить, пакостить, вредить, лебезить, пресмыкаться, «съезд почувствовал», «съезд не мог не видеть»... О чем (точнее: о ком) идет речь?

«Исключенные из партии антиленинцы, спустя некоторое время после XV съезда партии, стали подавать заявления о разрыве с троцкизмом с просьбой вернуть их в партию. Конечно, партия еще не могла знать тогда, что Троцкий, Раковский, Радек, Крестинский, Сокольников и другие давно уже являются врагами народа, шпионами, завербованными иностранной разведкой, что Каменев, Зиновьев, Пятаков и другие уже налаживают связи с врагами СССР в капиталистических странах для “сотрудничества” с ними против Советского народа. Но она была достаточно научена опытом, что от этих людей... можно ждать всяческих пакостей. Поэтому партия отнеслась к заявлениям исключенных недоверчиво...

Партия, жалея их и не желая отказать им в возможности стать снова людьми партии и рабочего класса, восстановила их в рядах членов партии.

С течением времени обнаружилось, однако, что заявления “активных деятелей” троцкистско-зиновьевского блока, за немногими исключениями, — были насквозь лживыми, двурушническими заявлениями.

Оказалось, что эти господа, еще до подачи своих заявлений, перестали быть политическим течением, готовым отстаивать перед народом свои взгляды, и превратились в безыдейную карьеристскую клику, готовую растоптать остатки своих взглядов на глазах у всех, готовую принять любую окраску, — как хамелеоны, — лишь бы сохранить себя в партии, в рабочем классе, чтобы иметь возможность пакостить и рабочему классу и его партии.

Троцкистско-зиновьевские “активные деятели” оказались политическими мошенниками, политическими двурушниками» (276—277). «Партия не могла знать», «партия была научена горьким опытом», «партия отнеслась недоверчиво», «партия жалела»...

Эта вполне сюрреалистическая картина неожиданно прерывается страстным сталинским монологом, ни о чем не рассказывающим, но все объясняющим: «Политические двурушники обычно начинают с обмана и проводят свое черное дело путем обмана народа, рабочего класса, партии рабочего класса. Но политических двурушников нельзя считать только обманщиками. Политические двурушники представляют безыдейную клику политических карьеристов, давно уже лишённую доверия народа и старающуюся вновь влезть в доверие путем обмана, путем хамелеонства, путем мошенничества, — какими угодно путями, — лишь бы сохранить за собой звание политических деятелей. Политические двурушники представляют беспринципную клику политических карьеристов, готовых опереться на кого угодно, хотя бы на уголовные элементы, хотя бы на подонки общества, хотя бы на заклятых врагов народа, — для того, чтобы в “подходящий момент” вылезть вновь на политическую сцену и усесться на шее у народа в качестве его “правителей”. Такими именно политическими двурушниками оказались троцкистско-зиновьевские “активные деятели”» (278).

Страстная эта речь выдает, конечно, интенции самого Сталина, моделировав-

шого образы своих «врагов» по себе, а потому никакие «идейные соображения» в расчет им не брались. Слова о «безыдейной клике политических карьеристов», заговоры, макиавеллистские ухищрения — все, что выплескивается из «сырого подвала» сталинского подсознания на головы убитых им врагов, является единственной реальностью сталинских текстов.

Агентурное мышление не в состоянии осознать историю вне категорий заговора. Собственно, и сама история важна как продукт (и урок!) борьбы с подпольем. В этом контексте ясно, что такие слова, как «оппозиция», теряют всякую содержательность. Доказано это не Сталиным, а показательными процессами 1936—1938 годов — своего рода «судом истории». Ведь и сама концепция заговора — попытка вернуть события в лоно «исторических закономерностей». Просто (вне заговора) борьба разных лиц и направлений за власть не имеет логики, не имеет общего знаменателя. Заговор — вот единое основание для объяснения явлений. В свете заговора все проясняется. Картина резко спрямляется. Мы вновь оказываемся в выстроенной истории.

Заговор рождает новое семантическое поле, в котором движется повествование между двумя полюсами — брани и сарказма. Автору чужда ирония. Достойной оппозицией героике является сарказм: «Зиновьев и Каменев высунулись было одно время с заявлением, что победа социализма в СССР невозможна ввиду его технико-экономической отсталости, но потом оказались вынужденными спрятаться в кустах... Зиновьев и Каменев, припертые к стенке, предпочли голосовать за эту резолюцию. Но партия знала, что они только отложили свою борьбу с ней» (263).

Мы вновь вернулись к образу «партии»-человека — прозрачному эвфемизму Сталина-нарратора. Каким предстает он перед нами на страницах «Краткого курса», посвященных действиям заговорщиков? Исполином, обладающим невиданной силой; хозяином великой державы, у которого все состоит на службе и который может распоряжаться жизнью своих подчиненных по собственному усмотрению, стоит только ему «шевелнуть пальцем»... Не столько в «самовосхваляющих» пассажах (как принято считать) предстает перед нами вождь в своем величии, сколько в своем гневе. Приведем лишь одно «лирическое отступление», следующее за рассказом о суде над Бухариным: «Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье.

Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются все лишь — временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий, как ненужный хлам.

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит Советскому народу шевелнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа.

Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу.

НКВД привел приговор в исполнение.

Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам.

Очередные же дела состояли в том, чтобы подготовиться к выборам в Верховный Совет СССР и провести их организованно» (332).

Здесь обращает на себя внимание телеграфный стиль, в котором вождь-победитель (он же «партия»; он же — «государство»; он же — «народ») повествует о происшедшем, и ссылка на «очередные дела» (подобные ссылки появляются в тексте неоднократно, когда речь заходит об оппозиционерах; например, о выходе Каменева, Зиновьева и Рыкова из состава Совнаркома в ноябре 1917 г. сообщается так: «ЦК партии с презрением заклеил их, как дезертиров революции и пособников буржуазии и перешел к очередным делам» (202)).

«Очередные дела» состоят, как правило, из каких-то несущественных вещей (вроде выборов в Верховный Совет). Читатель должен понимать дело так, что оппозиция только отвлекает от «дел». Но если о «делах» говорится в «Кратком курсе» без всякой экспрессивности, о врагах, напротив, — заинтересованно, с огромной страстью (несомненно, что «враги», претендовавшие на власть, занимали Сталина куда больше, чем «очередные дела»). Этот личностный компонент «Краткого курса» заставляет подозревать в повествователе не только рассказчика, но и лирика. Именно в этой «военной лирике» Сталина (страницы «Краткого курса», посвященные врагам) перед нами предстают образы сталинского мышления, которые нельзя обнаружить нигде больше: это самые откровенные (со-кров(ь)-енные) страницы сталинского наследия.

Например, как представлял себе вождь «советского человека»? Ответ следует искать не в величественных речах о «народе-исполине», а здесь: «Нередко раскулаченные перебирались в другой район, где их не знали, и там пролезали в колхоз, чтобы вредить и пакостить... Теперь, когда открытая борьба против колхозов потерпела неудачу, они изменили свою тактику. Они уже не стреляли из обрезов, а прикидывались тихонькими, смиренными, ручными, вполне советскими людьми. Проникая в колхозы, они тихой сапой наносили вред колхозам..., старались разложить колхозы изнутри, развалить колхозную трудовую дисциплину, запутать учет урожая, учет труда. Кулаки поставили ставку (sic!) на истребление конского поголовья в колхозах и сумели погубить много лошадей. Кулаки сознательно заражали лошадей сапом, чесоткой и другими болезнями, оставляли их без всякого ухода и т. д. Кулаки портили тракторы и машины» (302). В этих угрюмых фантазиях прорывается нечто большее, чем образ вредителя: они притворяются «тихонькими, смиренными, ручными, вполне советскими людьми». Перед нами — сталинский образ «советского человека» — «тихонького», «смирного», «ручного». Но если кулак (он же — вредитель) совершенно неотличим от «вполне советского человека», то виновность становится тотальной, враг скрывается в каждом; заговор, тайна, умысел «народа» против «Народа» рассеян в самом воздухе. В конце концов, если кулак виновен в том, что «прикидывается» «вполне советским человеком», то сам «вполне советский человек» виновен в том, что похож на кулака. Настоящим *всегда* «очередным делом» власти является борьба с заговором против себя самой.

Пространство «Краткого курса» — это пограничье (между историей и литературой), но поскольку все главные события — стилевые, жанровые, нарративные трансформации — всегда происходят именно на границах, столь велик сегодня интерес к текстам «другой литературы». Несомненно, что Большой стиль соцреализма возник во многом под влиянием сталинского нарратива.

Вождь и сам поднимается иногда до настоящего соцреалистического письма. События тогда предстают перед читателем в таком виде, в каком мы найдем их в историко-революционном романе. Например: «Из зажженной Лениным “Искры” разгорелось впоследствии пламя великого революционного пожара, которое сожгло дотла дворянско-помещичью царскую монархию и буржуазную власть» (25). Или (о «кровавом воскресеньи»): «Николай встретил их недружелюбно (sic!). Он приказал стрелять в безоружных рабочих. Больше тысячи рабочих было в тот день убито царскими войсками, более 2 тысяч ранено. Улицы Петербурга были залиты кровью.

Большевики шли вместе с рабочими. Многие из них были убиты или арестованы. Большевики тут же, на залитых рабочей кровью улицах, объясняли рабочим, кто виновник этого ужасного злодеяния и как нужно с ним бороться» (55). Патетика сменяется развязной разговорностью: «Революция вскрыла, что царизм... является тем горбатым, которого может исправить только могила» (89—90). И все же, эти «красивости стиля» важны прежде всего в контексте сталинского художественного мышления. Сталинская же метафорика всегда имела стилевую границу,

за которой начинался излюбленный сталинский бюрократический стиль. Встреча различных потоков дает разностильность иногда в одном речевом периоде: «Красная Пресня была главной крепостью восстания, ее центром. Здесь сосредоточились лучшие боевые дружины, которыми руководили большевики. Но Красная Пресня была подавлена огнем и мечом, залита кровью, пылала в зареве пожаров, зажженных артиллерией. Московское восстание было подавлено. Восстание имело место не только в Москве» (79). Последнее предложение резко контрастирует с предыдущей экспрессивностью стиля. Шел ли повествователь на это сознательно? Ведь риск был большим: описания часто приобретают неожиданно комический оттенок (вроде «большевиков, тут же, на залитых рабочей кровью улицах, объяснявших рабочим, кто виновник этого ужасного злодеяния»; или царя, встретившего рабочих «недружелюбно — огнем»).

Можно утверждать, что перед нами — образец не только соцреалистического письма, но и *уровня* этого письма. Когда Сталин собственноручно вписывал в собственную биографию вместо фразы «Сталин — это Ленин сегодня» вариант: «Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии: Сталин — это Ленин сегодня», он действовал, как писатель по преимуществу, заменив простой лозунг некоей «ситуацией» его произнесения. «Ситуация» стала «реалистичной»: можно представить себе, как члены партии говорят друг другу: «Сталин — это Ленин сегодня». Иронизируя на сей счет на XX съезде («Видите, как хорошо сказано, но не народом, а самим Сталиным»), Хрущев не увидел «реализма».

А между тем, подобных «ситуаций» в «Кратком курсе» немало: «Когда Гучков закончил свою речь возгласом “Да здравствует император Михаил”, то рабочие потребовали немедленного ареста и обыска Гучкова, говоря возмущенно: “Хрен редьки не слаще”» (174). Так и говорили друг другу рабочие («возмущенно!») — о «хрене» и «редьке»... «Верить» подобным реалистическим картинам стоит так же, как и в описываемому в соцреалистическом тексте: «Рабочие и солдаты стали массами покидать меньшевиков и эсеров, презрительно называя их “социал-тюремщиками”. Рабочие и солдаты, члены партий меньшевиков и эсеров, рвали свои членские билеты и с проклятием уходили из их партий, прося большевиков принять их в свою партию» (188). Так и говорили друг другу рабочие («презрительно!»): «социал-тюремщики» — и просились в партию большевиков (рабочие вообще не могут жить вне какой-либо партии)...

Особенность сталинского «реализма» состоит в том, что в нем тщательно скрыты именно реальные мотивы социальных явлений. Когда дело доходит до «конкретики» (кроме «хрена и редьки»), возникает та магия «Краткого курса», которая была вполне воспринята и усвоена советской литературой: люди здесь производят некие действия, уяснить конкретику которых невозможно. Например, сообщается, что во время Февральской революции «восставшие рабочие и солдаты стали арестовывать царских министров и генералов... Когда весть о победе революции в Петрограде распространилась в других городах и на фронте, рабочие и солдаты всюду стали свергать царских чиновников» (169). Как рабочие могли арестовывать министров, представить нелегко, хотя действия вполне конкретны, но как всюду начали «свергать» царских чиновников, представить себе решительно невозможно: «свергать» — это глагол-замена для описания неких конкретных действий, которые не названы — по одной мыслимой причине: их попросту нельзя произвести.

Нечто подобное происходит и при описании самого хода Февральской революции: «Корниловское восстание показало широким массам крестьянства, что помещики и генералы, разгромив большевиков и Советы, насядут потом на крестьянство. Поэтому широкие массы крестьянской бедноты стали все теснее сплываться вокруг большевиков. Что касается середняков.., то они, после разгрома Корни-

лова, стали определенно поворачивать в сторону большевистской партии» (193). Не касаясь сейчас вопроса о том, каким образом корниловский мятеж, этот кратковременный несостоявшийся дворцовый переворот, мог отразиться на «настроениях крестьянства», обратим внимание на «заменные» конструкции: что именно значит «теснее сплываться» и «определенно поворачивать»? «Определенно», это может означать лишь то, что действия здесь описываются по знакомому принципу: «должны были появиться» — «и действительно появились». При этом решительно неважно: «появились» или нет — раз «должны были», значит были «действительно».

Образ исторического долженствования — мощнейший импульс к историческому фантазированию. Собственно, вся историческая концепция Сталина оказывается настоящей доменом образов реальности «в ее революционном развитии». Поэтому, читая в советском колхозном романе о «зажиточной жизни колхозников», следует помнить, что исток этих картин — не в склонности советских писателей ко лжи, но в метатексте всей соцреалистической литературы: «Колхозы стали зажиточными. Постройка новых амбаров и кладовых стала главной заботой колхозного двора, так как старые местохранилища продуктов, рассчитанные на незначительные годовые запасы, не удовлетворяли и десятой доли новых потребностей колхозников» (325). Вот этот гиперболизм («и десятой доли!») и был продуктом «ready-made History».

Вышедший в 1938 году «Краткий курс» стал эпилогом «большого террора». Сталин писал свою книгу одновременно с расстрельными списками, в которых оказались все возможные свидетели его истории. Эта одновременность дает право предположить, что сама эта книга была своего рода обоснованием большого террора: для того, чтобы «Краткий курс» вышел, все его персонажи должны были умереть, стать смолкнувшей историей. Другими словами, стать «материалом» для этой книги, стать жертвами для нее. В этом смысле «Краткий курс» является, может быть, самой кровавой в мировой истории книгой. Она сама была целью террора.

Будучи итогом сталинской революции, «Краткий курс» заменил собой все, что было до него. Он не просто — слова об истории, но — самая история. Как будто прошлое сгорело. Все. Дотла. Этот эффект исторического «пожара», унесшего с собой прошлое, превратившего его в пепел, сам создает иллюзию истории: «Пожар, уносящий нечто устоявшееся, создает иллюзию прикосновения к ходу истории; созидание отождествляется с разрушением. На самом деле уничтоженная культурно-историческая, культурно-пространственная среда оставляет в сознании идеальный суррогат движения, который и принимается за историю, и тогда мир конечных вещей превращается в сырьевой придаток, пассивный материал псевдоисторической перспективы... Оказавшись на пепелище, человек обречен на повторный поиск языка, состоящего из причудливой смеси по случайности застрявших в сознании культурно-исторических воспоминаний и уродливых новообразований»<sup>25</sup>.

Вот почему перед нами здесь одновременно — и механизм *написания* новой истории, и механизм *стирания* памяти. Эти два процесса не противоположны. Они едины, как цель и средство, как причина и результат. Превращение прошлого в историю структурирует коллективную «память» (если не создает ее), эстетически оформляет «реальность», которая в текучести своей не имеет цены. Но лишь став частью истории, приобретя в ней «место», «логическое» обоснование и, наконец, нарративно «оформившись», превращается в... заверченный, самоценный художественный образ.

То обстоятельство, что версия 1938 года стала «единственной и окончательной версией», Гловинский объясняет следующим образом: «Сохранение в неприкосновенности первой версии подчеркивает мифологический характер текста. В миф можно вводить новые эпизоды, но к мифу, как правило, не добавляют продолже-

ния главной фабулы повествования. Такие добавления разрушили бы нарративную структуру произведения, задуманную таким образом, что время написания совпадает с финальным временем, которое наделяет смыслом все предшествующие события»<sup>26</sup>. Но — странное дело — биография Сталина (тоже миф) имела продолжение. И не только продолжение: в 1947 году вышло «издание второе, исправленное и дополненное». Как бы то ни было, дело не в «мифе» и уж тем более не в «фабуле повествования».

Просто «Краткий курс» в отличие от сталинской (авто)биографии был задуман как исторический памятник. Прежде всего как памятник (своеобразное надгробье жертвам террора?). Миф можно дописывать (стоит напомнить, что советская историческая мифология дописывалась и после 1938 года, и после Сталина, и после Хрущева, и после Брежнева). Памятник дописывать нельзя. Он самодостаточен. Так самодостаточно литературное произведение, которое не может быть дописано *вне зависимости* от того, что потом «произошло» в реальности, поскольку к «реальности» оно имеет весьма опосредованное отношение. Здесь — «художественная реальность». Автор сам побеспокоился о том, чтобы было ясно, что текст этот действительно целостно-завершен и замкнут. После шестикратного повторения в финальном апофеозе конструкции «История партии учит, что...» происходит удивительное в книге (и тем более в истории) замыкание рамы. После окончания повествования стоит посередине последней строки слово:

Конец.

Это и есть последняя точка памятника (подобно «Аминь»). С этого «конца» по праву можно было бы начать эту «историю» сначала, если бы это эпическое повествование, как будто победившее в своей тотальной завершенности самое время, не оказалось овнешненным, проинтегрированным в Историю. Остались: стиль, повествовательная техника, стратегия (оптика) нарратора и образ автора — власти.

Так остается литература.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1 В. Подорога. «Голос власти» и «письмо власти» // Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 109.

2 Л. Троцкий. Иосиф Сталин: Опыт характеристики // Л. Троцкий. К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. С. 398.

3 Там же. С. 402.

4 Михал Гловинский. «Не пускать прошлого на самотек»: «Краткий курс ВКП(б)» как мифическое сказание // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 144.

5 Roland Barthes. Introduction in the Structural Analysis of Narratives // Roland Barthes. Image, Music, Text. New York, 1977. P. 124.

6 Hayden White. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987. P. 13—14.

7 Там же. С. 21.

8 Там же. С. 43. См.: Hayden White. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973.

9 Ленин Владимир Ильич. Краткий очерк жизни и деятельности. М.: ОГИЗ, 1946. С. 7. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

10 К. Симонов. Солдатами не рождаются. М., 1964. С. 681.

11 Н. С. Хрущев. Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС. М., 1959. С. 49—

50. Приведенные Хрущевым цитаты даны по изданию: Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1947. С. 105. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

12 См.: *Н. А. Васецкий*. Л. Д. Троцкий. Политический портрет // Л. Троцкий. К истории русской революции. С. 34.

13 *Hayden White*. *Metahistory*. P. 30—31.

14 См.: *Mikhail N. Epshtein*. *After the Future: The Paradoxes of Postmodernism & Contemporary Russian Culture*. Amherst, 1995. P. 101—163.

15 *Михал Гловиньский*. Указ. соч. С. 151.

16 *О. В. Белый*. Тайны «подпольного» человека. (Художественное слово — Обыденное сознание — Семиотика власти). Киев, 1991. С. 74.

17 Тоталитаризм как исторический феномен. М, 1989. С. 18—19.

18 *Михал Гловиньский*. Указ. соч. С. 157.

19 *Karl Mannheim*. *Ideology and Utopia*. New York, 1954. P. 206.

20 Там же. С. 210.

21 История ВКП(б). Краткий курс. М.: Политиздат, 1940. С. 202—204. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках.

22 *Михал Гловиньский*. Указ. соч. С. 147—148.

23 *О. В. Белый*. Указ. соч. С. 90.

24 *Karl Mannheim*. *Op. cit.* P. 211.

25 *О. В. Белый*. Указ. соч. С. 101—102.

26 *Михал Гловиньский*. Указ. соч. С. 158.